

Николай Климонтович

ТОЛЬКО ОСТРОВ

Москва
Издательство «БПП»
2010

Текст представлен в авторской редакции

Миша Мозель, стыдя себя, в последние годы все больше сторонился людей. С ними ему зачастую становилось скучно: многие оказывались одинаковыми, никем и ничем не интересовались. Нет, Миша не вовсе потерял вкус к жизни: он по-прежнему любил книги и жену, курить крепкие сигареты натошак, свою работу и по-прежнему жалел мир. Сейчас он смотрел из окна палаты на мелкий частый дождь в больничном дворе, на мокрые желтые листья, которыми были запятнаны и асфальт, и газоны: красные листья в этом октябре отчего-то дольше держались на деревьях. Он наблюдал, как мокрая пегая ворона склевывает редкую китайку на уже облетевшей яблоне – райские яблочки, – и ворону ему тоже было жаль. Как и яблоню, впрочем. Он думал о том, что эта его жалость всего лишь обратная сторона зависти, потому что птица свободна и здорова, у нее отменный аппетит. А яблоня его переживет...

Дверь за его спиной с шумом распахнулась. Миша обернулся. Двоих соседей по палате на месте не было, Миша не заметил, как они вышли. Процедурная сестра, равнодушная от старости и стажа, задевая со стуком разлапистыми железными ножками за косяк, гремя банкой с раствором, внесла в палату штатив с капельницей. Миша молча улегся на свою кровать, подставил правую руку, сдвинув к плечу рукав халата. Сестра наложила жгут, Миша без понуканий стал работать кулачком. Сестра принялась щупать его руку, с привычной досадой приговаривая ох, плохие у вас вены, как будто за две недели, что она брала кровь и ставила ему капельницы, вены могли измениться, – от первых неудачных ее попыток остались-таки две гематомы.

Не то чтобы Миша гордился своими венами, но в первый раз за них чуть обиделся. А потом привык. Он уже ко многому здесь привык, человек скоро привыкает... Плохие, потому что тонкие, неудобные, пожилой подслеповатой женщине трудно было их достать. Наконец, она нашла, ткнула иглу в руку, больно поддела кожу и, кажется, попала-таки, потому что в шприце оказалась кровь. Она неловко, плохо гнувшись пальцами, приладила катетер, повернула крантик и удалилась. Пузырек воздуха побежал вверх по гибкой прозрачной трубке. И Миша прикрыл глаза.

Конечно, если все обойдется, на Остров он отправится, приглашение останется в силе до весны, а ведь Мише было просто необходимо туда попасть... Он спросил у врача, мол, так и так, он должен отправиться за границу, и ему непременно надо знать, сколько времени займет операция, а сколько реабилитация – в лучшем случае. И врач, вечно спешащий куда-то по больничному коридору – полы короткого белоснежного халата порхали над модными брюками и дорогими штиблетами, – ухмыльнулся и бросил на бегу коротко как повезет. Миша, который всегда пуще огня боялся быть навязчивым, тут взмолился: но все же, доктор? И тот остановился в своем беге, устало посмотрел Мише в глаза из-под тонких с позолотой очков, произнес с холодным врачебным цинизмом: бывает, выписываем через две недели, а бывает, дело кончается летальным исходом...

Этот разговор состоялся на второй день после водворения Миши в палату, тогда он еще не знал ничего.

Странным и страшным был этот последний год Миши Мозеля: он пережил слишком много для такого короткого времени. Сначала умер отец, и Миша похоронил его на Хованском кладбище. Обронив в присутствии сына, что теперь ей жить не для кого, – Миша был не в счет, она всегда любила только отца, – через семь месяцев умерла мать.

Отец умер легко, как праведник. С отменным аппетитом позавтракал перловкой и кофе, съел бутерброд с красной икрой, попросил включить старый Грюндик, настроенный на английское Би-би-си, откинулся на подушку; когда Миша вошел в его кабинет через пять минут, отец был уже мертв, и на светлом его лице осталась чуть уловимая улыбка, как будто в последний свой момент отец что-то узнал.

Мать умирала долго и трудно, почти месяц была не в себе, подчас не узнавала сына. Иногда спрашивала, какая остановка, волновалась, не пора ли выходить. Но, даже когда приходила в себя, совершенно Мишу не стеснялась, не видела в нем мужчину, и Мише это было тяжелее всего: мать всегда была холодноватой и очень щепетильной женщиной, до чопорности... Верочка, конечно, приезжала его подменять, но под разными предлогами Миша ее ласково выпроваживал; мать с невесткой всегда была не в ладах, тем более что Верочку больная теперь вообще отказывалась узнавать, шептала кто эта чужая женщина – со страхом. Мише подчас мерещилось – притворным.

Мать была принципиальной тихой атеисткой, хотя, конечно же, была крещена во младенчестве, и пожелала, чтобы тело ее непременно сожгли в крематории.

Миша сжег; а когда получил урну через несколько недель, похоронил там же, в могиле отца. Он уже все делал как во сне, и если б не Вера – не справился бы. Так ему казалось.

Потом случился пожар на складе, где хранился тираж Вестника, и все сто пачек погибли. Хорошо, Миша успел кое-что забрать в первые же дни и разослать – иначе плоды долгой его работы совсем пропали бы... И вот, наконец, у него обнаружили опухоль на левой почке, и он оказался в этой палате.

Лежа здесь, он часто вспоминал присказку беда одна не ходит. Прежде он иронически кривился от всяческих фольклорных трюизмов, эта самая народная мудрость казалась ему навязчивой и плоской, но теперь пришлось согласиться: верно, не ходит.

Теперь он часто вспоминал полузабытые стихи, постепенно они будто проявлялись в памяти:

Еще одно поведать о нем я не успел,
Колчан его ломился от златоперых стрел,
Чей острый наконечник был шириною в пядь.
Кто сбит такой стрелою с ног, тому уже не встать.

Когда-то отец читал это маленькому Мише вслух перед сном и даже позже, уже в первых классах, когда Миша ангилил и температурил.

И, лежа в палате или стоя с сигаретой на застуженной задней лестнице над вонючим ведром, куда старшая сестра указала бросать окурки, – курить в отделении дозволялось только здесь, – Миша повторял шепотом:

Кто сбит такой стрелою с ног, тому уже не встать...

В родительской квартире всегда, сколько помнил себя Миша, стояли в гостиной старые напольные часы в массивном дубовом ящике. Часы были так же внушительны, как и большой резной дубовый английский буфет. Уж Бог знает, как пережили эти вещи советскую историю, но были целы и стояли здесь со времен дедушки Миши.

Часы, как издавна считалось в семье, давно не шли, механизм был испорчен, но к ним полагался большой массивный ключ с двумя коваными лепестками, и в Мишином детстве бабушка часто выгребала этот дивный предмет из груды Мишиных игрушек, и ключ водворялся на место, в маленькую нишу за дверцей под циферблатом... В день кремации матери, когда в родительской квартире после недолгих и тягостных поминок никого не осталось, а Верочка, выпроводив последнюю, далекую и неведомую, тетку, принялась на кухне мыть посуду, Миша, слоняясь без дела и маясь, машинально отворил ту самую, заветную в его детстве, дверцу и нашел, что ключ так и лежит на месте. Миша достал его, вставил в четырехугольную скважину и несколько раз повернул с усилием и скрежетом по часовой стрелке. И вздрогнул от испуга: внутри что-то скрипнуло, часы будто вздохнули – и пошли. Верочка, крикнул Миша с суеверным ужасом, Верочка, они – идут. Но никто его, конечно, не услышал, и ему в одиночку пришлось догадываться, что такое старые часы принялись вдруг отмерять.

И до больницы, и в палате Мише теперь то и дело снились родные – быть может, потому, что на пятьдесят первом году жизни он вдруг понял, что остался сиротой. Ему снился отец, снилась мать, потом несколько раз

кряду принималась сниться бабушка, которую он когда-то очень любил и продолжал любить и сейчас: она, по сути, его и воспитала, а умерла уже очень давно, почти четверть века назад. Во сне они с бабушкой искали какой-то дом в какой-то неведомой печальной местности, шли отчего-то по заросшим железнодорожным путям, перешагивая по шпалам между ржавыми рельсами...

С отцом – разговаривали, и подчас оказывалось, что это вовсе не отец и что говорить не о чем, но на следующую ночь отец появлялся снова, и все повторялось, и случалось так, что Миша, уже пробуждаясь, зная во сне, что видит сон, все порывался отцу сказать что-то или что-то спросить, но с ужасом понимал, что забыл – что именно... Мать же ему вечно что-то запрещала, раздражалась, вечно что-то крутя в пальцах, конец шали, что ли, притом что никаких шалей и платков никогда не носила, спорила с ним в каких-то незнакомых и всегда тесных комнатах, в каком-то деревянном доме... И Мише теперь было в пору согласиться с простонародным убеждением, что таким образом его умершие близкие зовут его и, наверное, вскоре он свидится с ними.

Миша не верил, конечно, в посмертное бытие, как оно описано у Данте: Божественная комедия со всеми ее кругами скорее всего лишь гениальная ироническая метафора, чтоб было куда поместить недругов, – написал же Микеланджело Буонарроти в правом нижнем углу Страшного суда в Сикстинской капелле, в самом заштатном краю Ада, папского бухгалтера, считавшего, что художнику переплачивают. И построения Сведенборга насчет бессмертия души были на Мишин вкус

лишь прелестными спекуляциями, а не духовидческими откровениями. Но Миша знал, конечно, что душа не может растворяться без следа, так что был своего рода стихийным буддистом, без веры, впрочем, в перевоплощение, и его поражало, как мог написать свою гениальную поэму Данте, не зная Тибетскую книгу мертвых. И вообще как много в разные времена и в разных местах люди, не ведая друг о друге, говорили, думали, писали, вещали об одном и том же – о бессмертии, и могло ли это быть случайным. И только ли это одна пустая мечта – на манер федоровской, на самом деле – новозаветной. Но Мишу подчас мучило простое соображение, что если душа бессмертна, то она не может родиться вместе с человеком; и естественно полагать, что душа человека существовала и до его появления на свет, то есть была всегда.

Больница, хоть и считалась по своему печальному профилю лучшей в городе, а то и в стране, была старой, обшарпанной, как водится за всеми государственными учреждениями, располагалась недалеко от центра, при ней не было не то что парка, но даже дворика. Впрочем, большинству ее пациентов было не до прогулок.

Тесное это заведение всегда было переполнено, и больные, которым помощь была необходима немедленно, числились в очереди на операцию месяцами. Что было недальновидно с их стороны, ведь им могли помочь и в других местах, но именно у этого была слава чудодейственного.

Распространялась эта необходимость томительного ожидания в страхе и неизвестности, конечно, лишь на

так называемых больных со страховкой, то есть с государственным полисом, на тех, кто не имел возможности платить наличными. Но и платных было чересчур, и первыми попадали те, у кого обнаруживались связи. Так, Миша попал сюда по протекции какой-то мало ему ведомой двоюродной, что ли, одинокой, но с богатыми связями тетки жены. Два Мишиных соседа тоже были блатными. Причем заведующий отделением проявил чуткость и положил всех троих в одну, блатную, палату на троих. Впрочем, такая в отделении была единственная – в других лежало по шесть-восемь человек. Но и этого мало: казалось, заведующий намеренно сформировал контингент по принципу творческие люди, – возможно, при этом ожидался некий психотерапевтический эффект, и он в этом не ошибся... Конечно, вполне возможно, что все это было лишь стечением обстоятельств и вышло случайно.

Мишу Мозеля, однако, к творческой интеллигенции в общепринятом понимании было не отнести. Он был библиограф, хоть и кандидат наук. Зато его соседи оба были художники, творцы, что вызывало у Миши чуть ли не благоговение: он всегда хотел быть поэтом, да хорошо, скоро понял, что Бог – не попустил, но все же преклонялся перед всяким чужим даром. И со стыдом, никому не показывая, хранил-таки свои дилетантские строки:

В ночи случайная слезинка
Стекает тихо по щеке,
Скользит под милую улыбку,
Как Лорелея по реке...

А не показывал потому, что однажды услышал из чьих-то уст: и этот мандельштамит...

Миша пришел в палату, маленькую комнату метров четырнадцати, позже соседей, потому ему досталась самая неудобная кровать, при входе, ногами к раковине, и тумбочка располагалась неудобно, за головой, – две другие кровати стояли по сторонам окна. Ко времени его появления одному из обитателей палаты уже сделали операцию на предстательной железе. Второй ждал подобной же. Миша, поскольку опухоль у него была на почке, в этом маленьком кругу стал считаться легким больным.

Просыпалась палата среди ночи. Прооперированный, шумно переваливаясь, вставал и, тихо стелая, ковылял к раковине, чтобы попытаться промыть какие-то трубочки, что свисали у него на паху из-под пижамной куртки. А также опорожнить мочесборник. Тогда, разбуженный, второй сосед принимался бриться электрической машинкой. Это был вечный холостяк лет под шестьдесят, но теперь он очень волновался, сможет ли после операции жениться, ведь до болезни сделать этого не успел. И тот и другой были вежливы с Мишей, и среди ночи часто звучало что-то в духе я вас не разбудил. Миша энергически отказывался, мол, что вы, пустяки, забирался под одеяло. Ему мерещился Остров.

На Остров Миша должен был сначала лететь на самолете, потом плыть на пароме. Грант, что он получил, был дан ему за работу, которую он делал много лет и

наконец опубликовал в погибшем от огня Вестнике. Работа эта была в России единственной в своем роде – полная русская библиография Эммануила Сведенборга и полный, насколько это было возможно, перечень ссылок.

Грустно, но немногие его близкие знакомые, даже те из них, кто имел хоть отдаленное представление о великом шведском мистике, пожимали плечами, когда Миша говорил о своей работе: кому это нужно. Они не философа имели в виду, конечно, но саму Мишину деятельность, представлявшуюся им как бы талмудической, не творческой или, как теперь принято говорить, некреативной. Но это были люди не архивные; вот старинный приятель-переводчик Науменко, германист, опубликовавший по-русски черновики сказок братьев Гримм, тот да, оценил бы, но, к сожалению, они давно не общались, потому что переводчик, будучи чуть старше, говорил по телефону часами и только о своих болячках, на худой конец о недомоганиях своего любимца-пса, ухоженного, но старого эрдель-терьера – перестал слепнуть, – и никогда не говорил о жене, так, вкользь; как-то Вера посоветовала Мише попытаться рассказать и ему о своих хворях; старый знакомец мигом скомкал разговор и больше никогда не звонил.

Скептики же чаще всего были люди от Мишиной науки далекие, из тех, кого некогда называли профаны, и Миша, не раз спугнутый, чем дольше работал и дальше продвигался, все меньше о своей работе говорил. Даже с Верочкой. Конечно, жена, любя его и жалея, не была столь бестактна, как посторонние, помогала, если что, с готовностью, заботилась, но и для нее, Миша знал,

и в его работе, и в нем самом было нечто не от мира сего. И это при том, что Верочка знала, конечно, отчего была выбрана некогда именно эта тема, никак не случайно, но, кажется, и сама причина этого выбора казалась ей, как бы сказать вернее, притянутой за уши... Тем более значимым оказался нечаянно выигранный Мишей приз.

И во дворе, и в начальной школе Мишу Мозеля с детства дразнили евреем. За долговязость, кадыкастость и горбоносие, но пуще, конечно, за фамилию. Отец, узнав, что Миша как-то поплакался на это матери, пытаясь спросить, точно ли они евреи, передернул плечами и сказал сыну: ты не еврей, но никогда не оправдывайся, евреи в высшей степени достойный народ. Потом Миша понял и еще одну вещь, почему не надо оправдываться: слишком многие евреи с легкостью отрекаются от своего племени, именно что оправдываются, и тогда их считают евреями еще больше и увереннее, но уже безо всякого оттенка скрытого под пренебрежением уважения.

Мишина фамилия была немецкого происхождения, хотя отдаленные предки привезли ее в Россию из Швеции. Это было известно Мише, сколько он себя помнил, но в семье об этом говорить было не принято. Если мы и шведы, говорил отец, то мы русские шведы. Позже, лет девяти, Миша сообразил: как Даль?

– Ну, к примеру, – сказал отец, – или как Витте.

Но все равно что-то в его фамилии, в ее написании и произношении, Мишу стесняло и смутно не устраивало.

Вопрос оказался снят, как ни странно, с милицейской помощью, о чем милиция, конечно, не догадывалась. Верочка настояла, что, мол, тебе нужно отдохнуть, и решила отвезти Мишу на Крит, где нам нужно побывать: по негласному сговору Верочка одна знала, что им нужно, и это было удобно. Для поездки следовало выправить иностранный паспорт, которого у Миши никогда не было. Когда все формальности были выполнены и Миша получил документ, там значилось: Mihail Mozel. Так что, как выяснилось, причиной многих недоумений и обид был всего лишь мягкий знак, довольно странная буква алфавита: за ней не было звука, но она, оказывается, могла приводить к неприятным недоразумениям.

Единственный городок на Острове Мише мерещился средневековой крепостью, обнесенной высокими стенами, как у рыцарского замка, с тянущимся к серому балтийскому небу шпилем готического собора, с кукольными домиками, крытыми красной черепицей: на дверце каждого висел зеленый хвойный веночек с красными ягодами и золотыми шишечками, обороняя домик от злых сил. Зимой городок в крепости, построенной некогда Тевтонским орденом, утопал в снегу и в розах. Почему в розах, невзирая на северную погоду, понятно: розы – цветы мистиков и рыцарей.

Мише не раз приходило в голову: тот факт, что родители дали единственному сыну имя в честь незнако-

мого ему родного дяди, старшего брата отца, является для него, быть может, роковым знаком. Дядя погиб в московском ополчении в первый год войны, за десять с лишним лет до Мишиного рождения. И Мише часто приходило в голову, не этого ли корня его привычные с детства мысли о самоубийстве, с которыми он свыкся, как свыкаются с недоступной, но неотступной мечтой. Ведь, если вдуматься, то незачем было дяде Михаилу Мозелю добровольно идти в ополчение, которое не обучили, не одели, даже толком не вооружили, а провели по Красной площади и бросили под немецкий огонь на верную смерть. Ведь дядя Миша был студентом-медиком и у него имелась бронь. Уж не стремился ли дядюшка к гибели, причем безвестной: могил у тысяч ополченцев не было. Вряд ли могли его так захватить прекраснодушные патриотические настроения, хотя кто знает, молодость все-таки... Или здесь таилось что-то другое, может быть, боязнь лагеря – ведь он был швед, то есть почти немец, хоть и писался по паспорту русским. Но скорее он сам искал смерти. Бог весть. Как говорят итальянцы, каждый новорожденный – это неизвестный покойник. Кто поражен такой стрелой...

За первую неделю, что Миша провел здесь, ему сделали множество анализов, некоторые на сложной аппаратуре, и признали операбельным: оказалось, и операцию тоже еще надобно заслужить. Врач, смотревшая его на томографе, сказала: что ж, почки – парный орган, а вторая у вас крепкая. И Миша, и так не бившийся в истерике – на все воля Божья, – после этих слов загордился: отменная все-таки у него вторая почка.

И вовсе успокоился. Настроился жить и дальше. И вспомнил из Матфея: хорошо жить хоть безрукому, хоть хромоту, а не с двумя руками и двумя ногами пропасть...

Теперь ему ставили по три капельницы в день – очищали печень от ферментов, это было необходимо для анестезии, – и каждый день брали из вены кровь – на биохимию, как здесь для краткости выражался медицинский персонал, и обе руки Миши были вчистую исколоты. Иными словами, его готовили к операции. Молоденький ординатор, который вел Мишу, удивлялся, откуда в его печени столько ферментов. Приглядывался и даже, кажется, принимался. Удивлялся и сам Миша – ведь он почти совсем не пил, алкоголя у них в доме не бывало, так, пару рюмок в гостях...

Здесь, в больнице, где так близко видна была смерть – не собственно Мишина, но смерть вообще, как неизбежное конечное состояние человека, – Миша много думал о жизни, на что в миру, на воле оставалось немного времени. Он думал о том, что, если бы ему предложили начать жизнь сначала, он в ужасе и панике отказался бы. Ведь пришлось бы все делать заново. Играть во дворе с мальчишками в потные и глупые игры – вроде футбола. Ходить в унылую школу, в которой преподавали – при Мишиной детской – одни банальности. Потом таскаться через весь город на лекции в университет, где в темных, пыльных аудиториях доценты в обвислых пиджаках, подчас с чернильными пятнами на сердце, читали по большей части пустейшие лекции, и немногие сообщаемые ими сведения были стоящими...

Нет, первая половина жизни, как ни крути, неприятная, неопрятная и утомительная штука.

Миша никогда не понимал людей, которые боятся стареть. Не сочувствовал надрывно-обреченной интонации навязчивой песни наши годы как птицы летят. Ничего подобного, годы еле тащатся, и жизнь, по слову поэта, оказалась длинной. Слишком длинной и медленной, думал пятидесятилетний Миша Мозель. Единственно, хотелось бы дожить до пятидесяти семи, в этом возрасте Сведенборгу было откровение. Но тот прожил еще тридцать лет, за которые написал целую библиотеку, трактуя Пятикнижие и витийствуя, но это Мише, как он отчетливо понимал, не грозило: писал он всегда с большой натугой.

Конечно, Миша Мозель, видя, как вокруг борются за похудание, седлают тренажеры, всячески молодятся, перегрызая глотки за деньги и карьеры, будто надеются жить вечно, понимал и принимал с покорностью, что ему просто не хватает витальности и что он слабак, как в минуты недовольства сыном обидно говаривал Мозель-старший, – у него-то самого с витальностью было все в порядке.

Миша, однако, все равно поражался человеческой жадности до суеты и видел, как люди прикрывают и оправдывают свою алчность к жизни – любовью к детям. Но дети вырастают, забывают своих родителей, а те живут, живут и живут... У них с Верочкой детей не было, Верочка никогда больше не беременела после раннего, студенческой поры аборта, сделанного по настоянию свекрови, ведь тебе, Веруня, придется бросить универ-

ситет, – но Миша никогда об этом не жалел, хоть и корил себя за эгоизм. И даже радовался – ведь он, как и подобает, оказался как бы в целибате, пусть и невольно... С годами смирилась и Верочка, и они стали жить друг для друга.

И вот теперь они и вовсе стали богатеями, к чему никогда не стремились, и им постоянно предлагали деньги в долг, поскольку когда еще вы продадите квартиру, такая катавасия, а операция, наверное, дорого стоит... И верно, теперь у них было две квартиры, дедовская дача – не самое ветхое, хоть и внушительное строение, но главное – полгектара подмосковной земли. Во всем этом было, на вкус Миши, слишком много суеты; но одно было верно: они с Верочкой оказались теперь избавлены от постоянной и унижительной тревоги, которая многим отравляет последнюю треть жизни, – от мучительного страха будущей нищей старости... Что ж, не зря великий теософ учил, что человек ни в коем случае не должен быть бедняком. И тем более аскетом – пост иссушает и ум, и душу. Миша же считал, что деньги нужны для того только, чтобы иметь возможность до смерти сохранять свой уклад жизни и свои привычки. Ведь и статут Тевтонского ордена носил название Привычки дня.

Миша с детства, когда уж почитывал себе “Бову Королевича”, первый отечественный трэш, “Амадиса”, еще кое-что из романов “Круглого стола”, “Парсефаля”, в первую очередь, о том, как этот зануда чуть не проворонил Святой Грааль, имел представление о рыцарских

добродетелях: бедность, целомудрие, служение Господу. И, стыдясь собственного тщеславия, говорил себе, уже будучи взрослым мужчиной, что, в общем-то, удовлетворяет этим строгим требованиям: он был беден – платили ему всегда гроши; работу свою исполнял именно как служение, незаметно и всedневно – так монах в монастырском саду поливает и подстригает розы; а что до целомудрия, то, конечно, он был женат, но жена была единственная женщина в его жизни. И к тому же бесплодная...

Вот только Миша Мозель не сражался. Не боролся с великанами и не отличался на турнирах. Однажды лишь дал пощечину соседу тещи и тестя по лестничной площадке, который взялся терроризировать двух пенсионеров, нагло требуя деньги на водку, а в пьяном виде еще и заваливался выяснять с ними отношения: мол, вот вы, интеллигенция... После этой достославной пощечины, которой втайне очень гордилась Верочка, сосед, как ни странно, сник, отстал от стариков, начал даже здороваться, видно, слишком диковинной показалась ему форма воздаяния. А Верочка потом все подтрунивала, что Мишу теперь нужно бы причислить к лику и занести в святцы, поскольку он – совсем как какой-нибудь Нил Сорский: тот тоже в своем схимничестве в глухом лесу умел усмирять диких зверей.

Миша Мозель, смиренно принимая конечность своего бытия, вовсе не устал жить. Не от чего было: он прожил жизнь совершенно безмятежную – по рыцарским стандартам. Да что там, хоть по сравнению с родителями, бывшими свидетелями кровавых и смертель-

ных катаклизмов. Он принадлежал тому редкому из российских поколению, на долю которого выпал мир, которое не ведало ни холода, ни голода, ни гонений, одно лишь мещанское благополучие, в общем, жалкое, провинциальное, не буржуазное даже, небундерброкское, так ведь кто знает меру: у одного риса в супе мало, у другого жемчуг мелкий. А что до политических встрясок, хоть даже крушения империй, то для частного человека, у которого, как у того еврея из Леонида Андреева, которому его зубная боль была важнее, чем распятие троих разбойников, коих вели на Голгофу под его окнами, эти пертурбации, пока не встают на пороге дома, носят все-таки характер метеорологический.

Но даже на этом, самом благополучном, фоне судьбы его поколения жизнь Миши Мозеля состоялась совсем уж буколической. Его, единственного внука и сына, любил и баловал сначала дед-генерал, потом бабушка по материнской линии, потом отец-дипломат, а мать-искусствовед, которая числилась в каком-то институте и, кажется, вовсе туда не ходила, умела поддерживать уютный и теплый дом. Он рос – буквально рос, вытягиваясь от лета к лету – на старой даче в Поваровке, легко учился сначала в общеобразовательной, а потом в специальной английской школе; лепил с соседом по московскому дому рыцарей из пластилина – латы на них были из фольги от шоколада, а обитали рыцари в замках, клеенных из картона и раскрашенных акварелью. Потом легко поступил в университет – именно туда, куда хотел, на филологический факультет, и легко его закончил, умело избежав крайностей студенческой

жизни, пьянок в общежитии, картежничества и свально-го греха на картошке; как-то незаметно оказался в аспирантуре и безо всякой натуги защитился...

Он женился рано и счастливо, избежав любовных эксцессов юности и найдя Верочку. Точнее, это она его нашла в университетской библиотеке, тоже стояла в сторонке от студенческой вольности, но теперь это не имело значения. И всегда его окружали книги: была в сохранности еще дедова библиотека из любовно переплетенных дореволюционных томов на нескольких языках с разнообразными витиеватыми экслибрисами, ее пополнял отец, потом и сам Миша. На корешках некоторых дедовых томов виднелись полустертые номера, внук всегда хотел думать, что – букинистические...

Миша, в отличие от предков, рос человеком тихим и кабинетным. Жил своими раритетами, архивами и каталогами. Верочка занималась антропологией, в молодости ездила летом в поле раскапывать курганы со скифскими костями, Миша скучал, даже ревновал, срывался, бывало, к ней, но потом и это прошло, Верочка защитилась, стала домоседкой и верной женой. И было нечто общее в их занятиях – ее и его: оба занимались прошлым, знаками и следами.

В новые времена, когда на интеллигенцию обрушилась скудость, они не ощутили особых неудобств, у них к тому времени все уже было: не просто нужные, но редкие книги, необходимая одежда, обустроенная квартира – своя, не родительская, – дедова дача, наконец, с огромным запущенным садом.

Они с упоением копались в земле ранним летом, но у них никогда ничего не вызревало, редиска шла в рост, салат выходил коричневым, стрелки лука секлись уже в сантиметре от луковицы – так, укроп. Плохая у вас земля, говорила соседка, надо полоть, вон сад как запущен, надо подкармливать... Но куда там! И так, без подкормки, любые первые проклюнувшиеся росточки неизменно приводили Мишу в умиление, и Верочка, когда дачный кабинет оказывался уже до синевы накурненным, говорила: ладно, иди, возделывай свой сад...

– Вот, – подхватывал Миша, – ибо кто оглядывается, взявшись за плуг, тот ненадежен для царствия Божьего.

И чувствовали они себя при всем недороде – старосветскими помещиками, Миша и обращался подчас к Верочке Пульхерия Ивановна.

Когда-то была у них и машина, но Миша, точнее, Верочка, вовремя ее продали: ему морально не по силам были пробки, ГАИ с поборами, непонятные правила автостоянки, алчные эвакуаторы, обираловка в автосервисах, и он безо всякого сожаления, едва ль не с облегчением, пересел на такси, на метро и на электричку. А Верочка, хоть и получила права, но водить так и не научилась: как испугалась после первой, пустячной в общем-то, аварии, так и не отошла от этого испуга.

Им помогало то, что оба были очень скромны в быту. Скажем, Верочка не любила ни наряжаться, ни украшаться, ни даже краситься, а Миша и вовсе мог ходить годами в одном свитере. И он искренне и естественно, никого не осуждая, полагал такую жизнь единственно достойной. Кстати, у Гоголя, которого он обожал,

именно Старосветские помещики представлялись лучшим, что тот написал. В отличие от Верочки, он не слишком любил, восхищаясь, впрочем, Мертвые души, а от Шинели морщился, у него от этой повести мерзли ноги.

Все потому, что Мише Мозелю чужда была любая мизантропия, а мила теплая и ровная благожелательность к людям, которые не всегда счастливы, как того заслуживают, – но без христианской вымученной сострадательности и, конечно, без амикошонства... Потому что непозволительно изображать человека насекомым, даже куколкой насекомого, непозволительно даже подозревать в человеке насекомое, как родные – в Замзе. Это оскорбляет Бога.

Ночью, когда его, как обычно, соседи по палате разбудили в пятом часу, Миша отправился курить. Он, будучи худ и теперь похудев еще больше, всегда легко простужался, остерегался сквозняков. А на лестнице смертельно дуло, и глупо было сейчас, перед операцией, простудиться и заболеть. Так что ночами, пока палата не успокоится, он курил в пустом в этот ранний час, между волком и собакой, мужском туалете, пережидая предрассветное томление и тяжесть в сердце, а потом после себя оставлял открытым окно.

Но на сей раз фокус не прошел. Во-первых, в туалете несносно воняло дерьмом: кто-то, видно, не спустил за собой воду, что, впрочем, частенько случалось. И, точно как его сосед, какой-то больной с перетянутыми эластичным бинтом синими кривыми ногами, сливал мочу из мутного пластикового мочесборника, соеди-

ненного через катетер с его мочевым пузырем, в унитаз; он посмотрел на Мишу злобно – видно, тоже рассчитывал побыть один – и стал трясти конец мешка по привычке, как если бы это был его член...

Меж ароматами есть свежие, как плоть
Младенца, нежные, как музыка гобоя,
Зеленые, как луг...

Миша не знал, отчего он вспомнил сейчас, так не к месту, эти строки, написанные поэтом не без памяти о Соответствиях его любимого Сведенборга. И ретировался, поплелся на выстуженную лестницу.

Миша никогда не лежал в больницах, но всю свою жизнь, не считая нескольких каникул в Риме и Париже у отца и матери, прожил в России – с бабушкой, потом с родителями, когда они окончательно вернулись на родину, потом с Верочкой. Среди своего народа. Так что он, в общем-то, не слишком удивился, что при заоблачной по русским стандартам дороговизне здешних медицинских услуг низовой персонал был очень груб – при усталой и равнодушной, как они этого ни скрывали, внимательности врачей; что в отделении урологии, где лежало больше сотни человек, было только два тесных туалета на всех, женский и мужской, да и те чаще всего не убраны, забросаны рваными газетами, которыми наиболее озабоченные личной гигиеной больные застилали общие стульчаки, – другие, кто был в силах, восседали орлом; здесь не хватало даже чистых пакетов для послеоперационной сукровицы, ждите, когда привезут новые капельницы, то есть сестрам приходилось использовать упаковку; и мало того, что кормили здесь

откровенными помоями, буфетчица Капитолина Ивановна, крепко сбита пятидесятилетняя бабенка, гроза отделения и сожительница лифтера-алкоголика, крада продукты не только из общего котла, но и на закуску для своего хахаля у больных из общего холодильника, что стоял в холле. Поэтому чай, сахар, шоколад, кисель, фрукты, печенье и сухую колбасу все трое соседей хранили в палате на подоконнике, и санитарка не раз свирепо кричала, что расставили, мне вытереться нельзя... Миша с радостью платил бы ей каждый день, только чтоб не слышать ее ора, но вот беда, он не умел совать деньги обслуге, потому что считал чаевые взяткой, и наивно полагал, что таким образом может обидеть человека.

Как верно, подчас думал Миша, что Тевтонский орден был основан в конце XII века по Рождеству Христову на базе немецкого странноприимного дома для паломников, то есть попросту больницы, и бывшие крестоносцы на первых порах называли себя Братья немецкого дома. Что ж, милость к страждущим – рыцарское свойство, и этим никак не могут похвалиться бывшие еще совсем недавно советскими российские люди. Даже медработники.

Иногда в минуты слабости, за которые он всегда себя корил, Миша недоумевал, как его угораздило родиться в этой проклятой и холодной, грязной и ленивой стране. Господи, молил он, зачем ты меня сюда поселил? Но, чуть успокоившись, он понимал с грустью, что Россия – это не призвание даже, не испытание, не служе-

ние, но получение разнарядки свыше, своего рода поручение. И по мере сил его приходится выполнять.

Одного из соседей, раньше других прооперированного, звали Павел, фамилию его Миша так и не усвоил. Другого, который все волновался о грядущей гипотетической женитьбе, – Игорь Кирпичников, он так отрекомендовался – с упором именно на фамилию. Он был очень худ и горбонос, как и Миша, но не сутул, невысок и складен, точно горнист. И в отличие от Миши имел пышные усы.

Когда Миша впервые вошел в палату и даже не успел представиться, тот спросил:

– Вы тоже из дворян?

Как будто у Миши это было на лице написано. Миша смутился до румянца. Отец когда-то раз и навсегда запретил Мише говорить об их баронском титуле. И отнюдь не из страха – из вкуса, чтобы не дай Бог не задеть и не оскорбить собеседника иного сословия: отец всегда был джентльмен и вполне разделял ту точку зрения, что наследование титула есть пережиток, как если бы по наследству передавалось членство в творческом союзе, что, впрочем, часто встречается... Но сейчас Миша от неожиданности кивнул.

– А я вот читаю о своей семье, так сказать, – сказал Кирпичников и предъявил Мише обложку книги. Это был том ЖЗЛ с неразборчивым портретом на обложке некоего некрасивого господина в позапрошлого века офицерской треуголке. – Недавно узнал, что этот самый граф Аракчеев – наш далекий предок. Правда, не по

прямой линии. И что ж, выясняется, в советской историографии его нещадно оболгали и обгадили.

И Миша от растерянности опять лишь кивнул, не нашелся, что ответить. Во-первых, тот хотел сказать в истории, историография – это чуть иное; кроме того, Миша прекрасно знал, что русский демократически различный, а потом советский большевистский мифы об этом павловском графе и николаевском министре, невероятно деятельном и предприимчивом, хоть и отталкивающей внешности, просто глуп, хотя, конечно, граф был крутоват. Ну да что в России делалось без крутых мер, без кнута и прямого принуждения!..

На том в тот первый раз беседа и оборвалась. Но Миша потом не раз убеждался, что Кирпичников – человек неглупый, но истинный мастер интеллигентских общих мест.

Соседи днями бурно общались между собой, Мишу как будто не замечая. Что, впрочем, Мише было только в сладость. Говорил в основном Паша, и Кирпичникову с трудом удавалось свернуть его на тему изящных искусств. Да и то выходило, что, когда Кирпичников что-то такое неразборчиво, у него была не слишком отчетливая дикция, принимался вещать о колорите Чюрлениса – что ж, шестидесятник, – Паша как-то исподволь сводил все к делам сугубо земным и прозаическим. По всему выходило, что если он и художник, то прикладной, скорее дизайнер, и говорил он исключительно о том, как хорошо ему платили на ВДНХ, где он оформлял выставки, и как он некогда придумал дизайн советского павильона на выставке в Монреале. И повторял

он этот рассказ так часто, что было ясно: Монреаль остался навсегда важнейшим событием его жизни... Но чаще на правах ветерана он давал и Кирпичникову, и Мише предоперационные советы.

Их было множество и довольно разнообразных. Выходило, что необходимо обзавестись целым хозяйством: нужны были впитывающие пеленки, эластичные бинты, памперсы и свободные трусы, бандаж определенного номера, эпилятор, пластыри узкие антисептические для укрепления катетеров, костыли или на худой конец хоть палка, чтобы ходить по коридору после операции без посторонней помощи, и два набора лекарств для анестезии, а какие именно – скажут после специального почечного анализа, потому что каждому свои. Художник Кирпичников тщательно за ним записывал, а Миша – тот запоминал, потому что у него была цепкая память, натренированная годами работы с архивами и каталогами: он держал в голове тысячи ссылок и сотни библиотечных шифров.

Но больше всего Паша любил говорить о том, что сколько стоит и где можно купить дешевле. Скажем, выходило, что те же пеленки продаются неподалеку, на Хорошевке, но на Беговой дорожке на ВДНХ они стоят почти на сто рублей меньше за комплект. У Кирпичникова же была иная слабость: он по несколько раз на дню докладывал, как покакал. На вкус Миши, лучше б уж он, мужчина в годах, говорил по-взрослому посрал, но художник был деликатен и даже застенчив временами.

Тот врач, что первым поставил Мише предварительный диагноз, посоветовал: никому ничего не говорите, даже жене... Миша тогда еще подумал, что это невозможно, он не умел притворяться и лгать, тем более Верочке. Но, едва он оказался в больнице, выяснилось, что все знакомые и знакомые знакомых уже всё знают. И правда, ясно, что с ним случилось, коли он лежит в таком месте. Не врать же, что его поместили, скажем, в психиатрическую больницу...

Как-то Миша в разговоре с Кирпичниковым посетовал на эту утечку. Тот взглянул на него печально и усмехнулся: не волнуйтесь, уже через две недели все ваши знакомые об этом забудут.

С собой в больницу Миша взял только две книги.

Одну, зная, конечно, о ее существовании, Миша только недавно откопал среди книг деда. Это была толстовская компиляция евангельских текстов, четырех синоптических Евангелий, – неканонических граф не касался, – данных в толстовском же переводе и с толстовскими пространными, преимущественно филологического характера, рассуждениями – издания Посредника 1908 года. И стоял на книге незнакомый экслибрис.

Эта работа Толстого не входила, конечно, в советские собрания. Это был настоящий раритет: пятитысячный тираж книги, называвшейся Соединения, перевод и исследования четырех Евангелий, был в основном уничтожен по решению Московской судебной палаты. Именно после этого издания Синод отлучил графа от церкви, то есть сделал графу, говоря нынешним языком, бесплатный пиар.

Вторая книжка был Мельмут скиталец из серии Литературные памятники, купленная в начале восьмидесятых самим Мишей. Это было переиздание, первое состоялось десятью годами раньше в той же Науке. Но здесь была загадка: Метьюрина Миша читал в отрочестве, но по какой книге? Ни в родительском доме, ни у себя он этого издания не нашел, а ему было любопытно, что же это было и как книга попала к нему в руки. Скорее всего это были томики из библиотеки журнала Север конца позапрошлого века. Что ж, думал Миша, пора только детские книжки читать.

Еще из развлечений был у Миши крохотный транзистор австрийского производства, который Верочка отхватила в ближайшем к больнице подвальном магазинчике канцтоваров – зашла, чтобы купить Мише блокнот. Приемничек был оснащен крохотными же наушниками, что было совсем уж чудо. Теперь в бессонницу Миша, не боясь разбудить соседей, ловил Свободу, Би-би-си поймать никак не мог, и слушал новости, но отвлекался, задумывался, никогда не успевал уследить, какая будет погода, а Верочки рядом не было, некому было пересказать. Но и не уставал удивляться, что вот он уже так долго здесь, а во внешнем мире ничего не изменилось: все так же на всех континентах борются с воровством и за демократию, за глобализм и против глобализма, свергают и избирают президентов и без устали фанатически и маниакально одни люди убивают других людей по разным поводам, но чаще вовсе без оных.

На исходе третьей недели с Мишей приключилась неприятность. После обеда процедурная сестра поста-

вила ему очередную капельницу – биохимия упорно показывала, что ферменты не убавляются, – и, как обычно, удалась. Прошло полчаса, раствор в банке закончился, но Миша все лежал с воткнутой в вену иглой. Прошло еще полчаса. Мише мучительно хотелось в туалет, это была третья за день капельница, но сестры след простыл. И тогда Миша решился сам вытащить иглу, дернул, но забыл приготовить ватку, и из вены фонтаном хлынула кровь. Испуганный и сконфуженный Миша перетянул, как умел, руку платком, но вся постель оказалась в крови. И перепачкан пол. Кирпичников, всегда готовый помочь, побежал за дежурной сестрой, которая принялась страшно орать на Мишу: сами нагадили, сами и убирайте. Но руку все-таки забинтовала и сменила постель.

Пристыженный Миша сидел на краю кровати, когда пришла санитарка с тряпкой, чтобы вытереть пол, и тоже принялась было орать. И тут Паша с несколько брезгливой усмешкой сказал ей: пойдь сюда. И сунул в карман ее халата сто рублей. Ой, преобразилась санитарка, так ведь она у нас такая, часто забывает капельницу-то снять... И, действительно, назавтра выяснилось, что про Мишину капельницу процедурная сестра вспомнила лишь в троллейбусе, когда ехала домой: не возвращаться же было... А сто рублей Паша брать наотрез отказался: в следующий раз.

Чаще других в палате навещали Пашу. Брат, жена брата и собственная его жена, женщина немолодая, Пашиного возраста, некогда, без сомнения, прехорошенькая, – очень женственная и глуповатая. Посетители

сидели в ядовито-зеленых полиэтиленовых бахилах на стуле у кровати, а иногда жена Паши помогала ему гулять по коридору, заменяя собой костыль. Когда же они не гуляли, а Паша отлучался, она оживленно болтала с соседями мужа, рассказывая, что Павел в молодости был красивый, такой красивый, и грозясь как-нибудь принести из дома альбом с фотографиями. И Миша, и Игорь Кирпичников старательно кивали, а Павел, коли заставал жену за подобной болтовней, говорил, притворно морщась, хватит, хватит, как лезущей лизаться собаке, и было видно, как они привыкли друг к другу и что несчастье мужа только еще больше сблизило их.

К Кирпичникову приходила немолодая, явно старше его, седая женщина неопределенного с ним родства. А может быть, и вовсе не родственница, поскольку были они на вы. Это была невысокая плотная и по всему еще крепкая дама с удивительной чистоты лицом, и чем-то она напоминала Мише тетку отца по матери бабу Катю, как ее называли в семье, некогда смолянку и с ног до головы бывшую. И Мише было ясно, что и эта дама – из дворян, но оказалось – из купеческого сословия. Дед ее, рассказал потом Игорь, был коннозаводчик, и она по семейной традиции тоже занимается лошадьми: ветеринар на ипподроме. И верно, она источала силу и решительность.

Дама приходила каждый Божий день и приносила кучу еды, часть которой не без восклицаний куда столько и я же вас просил Игорь пытался заставить ее забрать обратно. Но она никогда не забирала. Та же сценка разыгрывалась и на другой день, поскольку еда появлялась вновь, может быть, даже более обильная. Все бы-

ло аккуратно расфасовано в квадратные эмалированные миски с крышками: винегрет, котлеты, холодец, – и, после ритуальных препирательств, вчистую Кирпичниковым съедалось еще до ухода таинственной для Миши посетительницы.

Верочка тоже норовила торчать в больнице каждый день, но Миша ее не пускал. Договорились: раз в два дня. Когда она приходила, Миша уводил ее в холл, который был по совместительству столовой. До обеда обитые железом дверцы раздаточного окна были наглухо закрыты и столовая становилась своего рода гостиной. Миша делал в палате чай с помощью кипятильника – не в часы трапез кипятку в отделении взять было неоткуда, – и они сидели друг напротив друга по большей части молча. Впрочем, Верочка говорила, что уже купила семян, совсем простеньких, календулу, резеду, на будущее лето и что она решила разбить цветник, ты помнишь, слева от крыльца, где светлее... Миша, зная, как смертельно Верочка боится предстоящей ему операции, был благодарен ей, что она так мужественно держится, даже ухитряется заговаривать ему зубы и поддерживать веру в счастливый исход. Он знал, что, невзирая на Мишины протесты, жена что ни день подкарауливает врача, когда тот возвращается после операции. И как-то видел случайно, что слушает доктор Верочку терпеливо, не перебивая... И, глядя сейчас на плохо покрашенный седой пробор на Верочкиной голове, на осунувшееся от тревоги постаревшее лицо, Миша думал о том, как он любит ее.

Миша, не смысля в ботанике, сообщениями о семенах был тронут лишь в общем смысле, но упоминание о месте где светлее заставило вспомнить Поваровку. Он любил своих поваровских, дружков детства, и Стаса, и Валерку, и даже шалопутного Витьку – тот был из местных и при их троице состоял кем-то вроде оруженосца. Конечно, с тех времен, когда они совершали налеты на старый яблоневый сад бывших господ Маякиных, что за железнодорожной веткой, прошли годы, Стас и Валерка остепенались, отстроили свои дачи, обнесли неприступными заборами, превратили ни дать ни взять в замки, завели злющих братьев-кобелей – огромных красавцев кавказцев, которых днем держали в вольерах, – оставили московские квартиры детям – и зажили помещиками. Рыцарями.

Дачи, впрочем, им достались разными путями.

Валерке, генеральскому внуку, как и Мише, – по прямому наследству, вот только дача была поделена надвое, с братом отца, так что участок, который и был сразу меньше Мишиного, теперь вовсе ужасся... История же дома Стаса была более витиевата: старой бездетной тетке, сестре матери, он достался от покойного мужа-полковника в конце 40-х. Тетка была экстравагантна, держала на даче тридцать кошек, десять собак и пятнадцать коз, и все жили в доме. Второй муж был алкоголик, моложе тетки лет на двадцать, но сын тоже полковника, однопольчанина и начальника первого. По рассказам Стаса, у этого очень хорошо стоял, но только когда он пил. Так что тетка намеренно его подпаивала. С пьяных глаз он и утонул в Лианозовском пруду, и тет-

ка этого не пережила, – Миша хорошо запомнил, именно в Лианозовском.

А жизнь оруженосца Витьки сложилась печально и обыкновенно. Он рано женился, работал на автобазе шофером, потом купил фуру, чтобы заняться частным извозом, попал под крышу местных милиционеров, которые обирали его как липку, стал пить, жена забрала дочку и уехала к матери в Бологое, Витька продал сначала фуру, потом пропил и квартиру, стал бомжевать и теперь летом побирался у магазина, а зимой обирал плохо закрытые дачи, включая Мишину, разумеется.

Мишина дача зимовала едва запертая, на один замок на веранде, который открывался ногой. Впрочем, по Мишиному разумению, на даче брать было ровным счетом нечего. Верочка этого мнения не разделяла, не досчитываясь по весне кастрюлек, ложек и плошек. Да и Миша изумлялся, когда обнаруживалось, что за зиму с веранды дивным образом исчез диван, испарилась старая, чуть не школьных времен, любимая стеганая тулупка, а как-то оказался выдран с мясом электрический счетчик.

Ни отцовской, ни его собственной предприимчивости не хватило даже подвести вовремя магистральный газ, да что и говорить, если по сей день они с Верочкой летом живут с удобствами на улице. Но зато, зато у них выжил сад, правда, не плодоносивший; лишь последним летом две пожилые сливы вдруг бурно разродились, засыпали желтыми ягодами все дорожки и всю траву перед домом, да старый конский каштан начиная с июля бомбардировал жесткими зелеными плодами

жестяную крышу веранды. В саду поселились стайка соек и беличья семья, жили ежи, а на крыльцо приходила столоваться соседская кошка.

С этими сойками вышло забавно. Сколько себя помнил Миша, никаких соек здесь в помине не было, но Верочка как-то привезла из Москвы книжку какого-то новомодного японца, Миша в островной литературе остановился на Мисиме, все читают. Книжка звалась претенциозно – Хроники Заводной птицы. После прочтения Верочкой этого сочинения в саду и появились сойки. И принялись кричать скрипучими механическими голосами. Они были рыжие, с хохолками, с плоскими темно-синими хвостами, с голубой полосой на боках. И Миша лишний раз убедился, что не только написанное определяет жизнь, но и прочитанное.

Миша терпеть не мог далеко уезжать от дома: на этом самом Крите он просто извелся, Верочка боялась: не заболел ли? Дело в том, что Миша совсем не умел не работать. А для его работы нужны были книги, хоть небольшая, но библиотека. Верочка же настаивала на отдыхе, что для Миши было равносильно пытке. Помнится, в Грецию Верочка взяла для него из Москвы Волхва какого-то англичанина, все читают. И уж на что Миша был человеком кабинетным, но, когда он дошел до места, где герой подцепил сифак, забросил книженцию: переводчик не жила на подмосковных дачах, потому что кто ж из старожилы Поваровки не знает, что бывает трипак, а бывает сифон – запишите телефон, – некачественный перевод. И Миша еще больше затосковал, как

Одиссей на острове у Калипсо, глядел с отвращением на жуковское винопенное – наверняка, переводил с немецкого – море и неопрятные, загаженные туристами античные руины.... И Верочка смирилась, лето теперь они всегда проводили на даче, куда свои книги Миша таскал рюкзаками.

С годами они с Верочкой стали мало говорить друг с другом, понимали без слов, и давно прошли те ночи, когда до утра болтали взахлеб, много смеялись и подчас даже тихонько пели. Сидя на кровати и прислонившись спинами к стене. Пели, разумеется, Окуджаву, которого так любила Верочка и который Мишу порой оставлял равнодушным. Разве что это, из раннего: а нам плевать, а мы вразвалочку, покинув раздевалочку...или за что ж вы Ваньку-то Морозова, который кидал в Пекине сотни, циркачке чтобы угодить, – для Миши все это была такая же экзотика, как какое-нибудь гумилевское если будете в Брабанте...

Мише было очень даже близко сказочное жили долго и счастливо и умерли в один день. А нынче тем более. И не в том дело, что долго и счастливо, а именно что в один день. Потому что для оставшегося, припозднившегося потеря другого будет неизбывным, мучительным повседневным горем.

С долгим временем, прожитым вместе, Миша, вполне в соответствии со сведенборговским Учением о Соответствиях, умудрился разглядеть в Верочке все планеты, включая их собственную, горы, моря, минералы, деревья, травы, цветы, животных, рептилий, птиц,

рыб, червей и насекомых, машины и самолеты, города, дома, запахи и звуки. Короче говоря, все знаки, которые суть зашифрованные образы иного мира – Нового Иерусалима, куда и ведет последних рыцарей духа их вседневный Крестовый поход.

Когда Миша читал в больнице прихваченного из дома Толстого, ему не требовался аутентичный текст Евангелий: Иоанна он знал почти наизусть и, фрагментами, Луку и Матфея. Марка не любил, а потому и помнил неважно.

Эта работа уже старого Толстого, на вкус Миши Мозеля, вообще говоря, была не нужной уже по поставленной задаче и оставляла странное впечатление – начетничества. Во-первых, сама идея сличения Евангелий представлялась Мише излишней, ибо уже была выполнена: любой читатель может найти в Синодальном издании указанные к каждому стиху параллельные места. Вовсе ложной кажется идея слияния четырех текстов разных авторов – в один. И уж подавно отдает гордыней попытка перевести канонический церковный текст русского Писания не на русский даже обиходный, но на язык толстовский.

Но и это не главное. Толстой в этой работе выказывает невероятную для автора Хаджи Мурата глухоту к поэзии. Вот, скажем, как он предлагает читать Иоанна, исходя из своих познаний в греческом и древнееврейском, но еще более – исходя из соображений точности и ясности перевода, как он это понимал:

Началом всего стало разумение жизни. И разумение жизни стало за Бога, и разумение-то жизни стало Бог.

И это косноязычие, это разумение-то, предлагалось вместо величественного, мощного в своей краткости и властности, завораживающего Иоаннова:

В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Толстой маниакально боролся с мистическим отношением Церкви к Писанию, так приблизительно: все три искушения суть самые обычные выражения внутренней борьбы, повторяющиеся в душе каждого человека. И уж совсем прелестно предложение старого графа именовать отныне Иоанна Крестителя – Иоанном Купало, потому что Крещение получило церковное значение таинства. А речь, надо понимать, идет всего лишь об искупаться... Хорошо хоть в 91-м году, когда помрачение прошло, Толстой признал, что его занесло и что его попытки вовлекли его в искусственные и, вероятно, неправильные филологические разъяснения... Так Мишу при чтении графа Толстого ненадолго покинуло постоянное и внушенное воспитанием смиренное благоговейное почтение перед великими.

Он отложил Толстого и с удовольствием перечитал сцену смерти старого скряги дядюшки Мельмота, смутно узнавая читанное сорок лет назад:

Во взгляде его больше не было ужаса, и руки его, которые перед этим судорожно перебирали одеяло короткими, прерывистыми движениями, застыли теперь и недвижно лежали на нем, точно лапы умершей от голода хищной птицы...

Как упомянуто, Миша, прилежный ученик, обожал соответствия. Его развлекало, скажем, такое совпадение. Осенью 1816 года Джон Мельмот поехал к умирающему дяде, средоточию всех его надежд на независимое положение в свете. Это – первые строки романа Метьюрина, он был впервые издан в Лондоне в 1820 году и тут же стал модным по всей Европе, и у русских полумилордов тоже, живи они хоть в Одессе. И у их жен, за которыми ухлестывали ссыльные рифмоплеты и авторы эпиграмм. Так что в том же году, не откладывая, русский поэт начал свой собственный роман в стихах такими строками:

Мой дядя самых честных правил,
Когда не в шутку занемог...

В начале прошлого века серия популярных карманных изданий английского издательства Penguin открылась занимательным романом одного напрочь забытого нынче автора. Книжечки эти шли нарасхват, доходили и до Киева. В первых строках забытого романа описывалась некая дичь в духе английских лимериков. Некий господин, в котором костюм выдавал никак не лондонца, но скорее жителя континента, попросил разрешения присесть на лавочку у входа в Green Park у некоего джентльмена, по профессии издателя, тайно сочиняющего романы, который в этот момент занимался рассматриванием фасада отеля Ритц.

– Знаете ли, – вдруг обратился иностранец к литератору, – Энн уже купила оливковое масло, и не только купила, но уже и разлила...

А у другого английского писателя можно прочесть, как некоего Гулливера губернатор летающего острова Лапута пригласил на бал, посвященный концу света... Что ж, бывший киевский студент-медик, сын профессора Духовной академии, смолоду бегло читал по-английски.

Да что говорить, если русский берлинский писатель Сирин на голубом глазу утверждал, что никогда не читал роман одного австрийского еврея Процесс, писавшего для удобства по-немецки. А уж о том, что за двадцать лет до Лолиты в Париже по-русски вышел роман обнищавшего эмигранта, знававшего лучшие дни, с девичьим именем на обложке, американский писатель Набоков и вовсе знать не мог; фабулой печального повествования была любовь немолодого русского профессора филологии к двенадцатилетней французской девочке, уличной акробатке, по имени Жаннета. И так далее...

По-Мишиному выходило, что вся мировая литература – это один общий текст, как бы мировой литературный фольклор, и русский мавр, беря пример со старших товарищей, ничуть не чинясь, переписывал западные сюжеты пачками. Так что тщеславие авторов нового времени, в общем-то, смехотворно: куда благороднее средневековая практика анонимности простонародных менестрелей, которые в отличие от галантных миннезингеров и трубадуров не оставляли имен под своими тоскливыми песнями. Эта безымянность имела смысл много больший, нежели простая скромность. Потому что никто ведь не осудит компилятора и перепис-

чика за обильное цитирование, использование чужих сюжетных ходов и присвоение гонорара.

Со дня на день Миша все подробнее узнавал и другие, помимо двух своих соседей, лица товарищей по несчастью. Правда, узнавал только курящих, потому что сталкивался с ними на лестнице, над поганым ведром.

Это были люди на изумление разные.

Молодой и бритый, с бычьей, как принято говорить в деревенской литературе, красно-белой шеей мужчина источал силу и здоровье. Он был похож на персонажей бесконечных отечественных криминальных телесериалов, которые, к Мишиному неподдельному негодованию, иногда на даче по вечерам смотрела Верочка. Но оказался вовсе не братком, а штурманом международных авиалиний. Кстати, и браток был в отделении, лет двадцати, в Адидасе с полосками, с золотой цепью на груди, все по форме, но не курил.

Была изумительной красоты тридцатилетняя статная женщина, яркая и лукавая, очень в себе уверенная. Случаем, когда они были вдвоем, познакомились – не стоять же друг перед другом молча.

– Вы, наверное, актриса, – сморозил Миша: он всегда терялся с незнакомыми женщинами, не знал, что сказать. Тем более с такими красивыми.

Она засмеялась, откинула с лица темную прядь. И затынулась, прищурилась: отгадайте, кто я, но уж точно не актриса.

– Я не знаю, – пожаловался Миша.

– Я работаю в банке, – сказала она.

– Вы новенькая? Недавно поступили?

– Я здесь в седьмой раз. Сюда прихожу как домой.

И Миша сразу решил, что эта женщина не цитировала сознательно Реквием, сам трагизм обстоятельств порой заставляет людей говорить одними и теми же горькими словами...

Еще одна женщина, нервная и некрасивая, сама заговорила с Мишей, быстро-быстро, не ожидая ответов, не заботясь даже, слушают ли ее. Она инженер, муж тоже инженер, вместе учились то ли в МАТИ, то ли в МАДИ, Миша не расслышал точно, у них двое сыновей-погодков, хороших сыновей, и мы прорвемся, ничего, мы прорвемся... Был в ней этакий комсомольский неизжитый задор и напор, но Мише показалось, что это – скорее инерция, уж больно взвихренно и лихорадочно она говорила. Так здесь многие скрывали свой страх. Этот самогипноз не помог ей, и после операции, с перебинтованными для предотвращения тромбоза ногами, она, едва смогла самостоятельно встать, опять приходила в курилку, но это была уже другая женщина, потухшая и надломленная, все повторяла шепотом только бы выйти отсюда на своих ногах...

Аккуратный и благообразный старик в теплом синем английском джемпере, всегда выбритый, до пенсии работал во ВГИКе кем-то вроде замдекана на актерском факультете. Он был мил, приветлив, спокоен, терпеливо ждал своей очереди, поскольку был из страховочных, давно на пенсии и наличных для ускорения процесса не имел. Выдавало его волнение лишь то, что он поминутно повторял одну и ту же фразу будем посмотреть, как говорят в Одессе, видно, только и надеясь

на эту бесхитростную присказку, которая заменяла ему, человеку советскому, молитву.

Однако не все хорохорились.

Огромный печальный мужик с руками, как корни дерева, всегда сидел над мусорным ведром на корточках. Он говорил мало, только сплевывал и вида был самого пролетарского, но оказался не так уж и прост: профессиональный водитель, он лет двадцать подряд возил на охоту партийных бонз, вспоминать же об этом не любил, хоть к нему и приставали а того ты знал... а того... а этого...

– Возил, – только и отвечал он.

Казалось, он пребывал в каком-то тихом отчаянии и в постоянном изнуряющем сомнении. Однажды, когда они оказались на площадке вдвоем, он вдруг посмотрел на Мишу с тоской и произнес с переворачивающей душу интонацией: и надо мне было всё это... деньги высосали... ну прожил бы на эти три тысячи баксов еще год как человек... а теперь выйду инвалидом, и жизнь не в жизнь, и денег нет...

Вот как метит и награждает Бог направо и налево, будто в кости играет, думал Миша, ведь не грешники же одни здесь собрались. Что ж, умно приговаривает простодушный и суеверный русский народ: от судьбы не уйдешь.

Миша не считал себя церковным человеком. Но однажды был-таки на исповеди. Дождавшись своей очереди в толпе старушек, подошел к батюшке. Чем грешен, спросил тот строго. И Миша не смог ответить – чем. Он даже вспотел от испуга (в церкви было жарко

натоплено): не может смертный человек быть безгрешен. И вдруг припомнил одну постыдную сцену, воспоминание о которой долго преследовало его. Однажды, будучи еще студентом и торопясь по своим молодым делам, он опрометью выскочил из передней двери троллейбуса, едва та отворилась. И уже на бегу услышал за спиной молящий старушечий голос: молодой человек, молодой человек... И – не остановился, не обернулся, не вернулся, не подал руку! Припомнив это, Миша и сейчас, перед батюшкой, устыдился и все рассказал как на духу. – Бог простит, – сказал батюшка торопливо и, пожалуй, даже раздраженно. – Впредь помогай страждущим... Следующий. – И протянул руку для поцелуя. Миша с внезапным отвращением коснулся этой толстой в перстнях руки губами. И пошел вон из храма, мучаясь уже двойным стыдом.

Однажды Верочка вбежала в палату возбужденная и радостно сообщила мужу, что доктор поведал ей: анализы показывают, что никаких очагов вокруг его левой почки нет и после операции скорее всего не понадобится курс облучения. Вы слышали, обратилась она к Кирпичникову, никаких очагов...

Поздравляю, искренне отозвался тот. Но взор его затуманился. Его операция была назначена на завтра, и ему уже второй день ставили клизмы. Кроме того, Верочка невольно допустила бестактность: у самого Кирпичникова очаги были, и в случае удачного исхода операции облучение ему предстояло.

– А еще, – продолжала Верочка, – доктор сказал, что, быть может, обойдется резекцией...

– Нет! – с неожиданной энергией воскликнул Миша. – Пусть уж удаляют к чертовой матери!

Верочка глубоко вдохнула от изумления, но ничего не сказала.

Тут вмешался Паша, он, как обычно, не вслушивался в смысл чужих слов, просто реагировал на звук разговора:

– Говорят, после такой операции живут и два года, и дольше. До пяти.

Все в палате замолчали.

– Вот, знаете, очень хорошо в Карловых Варах, – сказала Верочка, унимая дрожь, – и воды, и лечение, и массаж...

– Это бывший Карлсбад, – вставил и Миша.

– Поздно массаж делать. Не поймут, – сказал Павел криво ухмыляясь.

А Кирпичников ничего не сказал.

Ночью Миша опять не спал, маялся и ворочался и опять думал о суровом графе Толстом. Тот обвинял Церковь в склонности к волшебным сказкам. Призывал читать Евангелия точно и ясно, то есть пытался лишить православный люд дивной красоты и тайны Рождества Христова с бородами, как гномы, волхвами, идущими в своих золотых тюрбанах и живописных халатах за одинокой звездой; и игрушечного вертепа, где в яслях теплится таинственный золотой свет, а божественный агнец лежит под боком белого кудрявого барашка; и веселых чудес на Рождество Богородицы, праздника отпущения на волю птиц; и торжественной пасхальной растроганности с воистину воскресе, тайными слезами,

крашеными яйцами и поцелуями; и радостной крещенской Иордани – и всего-всего, что составляет пеструю языческую христианскую русскую веру, истовую и красочную одновременно.

И еще Миша думал о том, что во всей так называемой классической русской литературе только Пушкину, Гоголю, первому Толстому и отчасти Достоевскому были даны в высшей степени чувство юмора и чувство чудесного. А у серьезнейшего графа во всем Войне и мире единственный, кто нет-нет да хихикнет, это Наташа, но у нее это скорее ребяческое, шаловливое, физиологическое. Да еще Пьер привязывал к медведю городского, если это хулиганство можно считать юмором. Чувства юмора не было у Тургенева, Гончарова, ни у одного из разночинцев, а у Чехова – разве что в письмах, потому что у автора, называвшего свою тоскливую Чайку комедией, чувство юмора должно было быть очень особым... И даже Набоков был скорее саркастичен и желчен, чем шутилив. Да и в Европе без оговорок веселыми были разве что Дон Кихот и Декамерон, а потом смех кончился где-то на Стерне, все окутала бюргерская серьезность, даже у Гофмана в бесподобном Крошке Цахесе юмор оказался дозирован, как порошок в аптеке. Но все-таки был единственный титан, полностью полярный Толстому, ни в чем не пересекающийся с ним, – Рабле. И недаром русский граф в чине поручика имел специальность уничтожать человеческие неприятельские тела, а второй, беглый монах-францисканец, обладал жизнеутверждающим ремеслом врачевать... С этим умозаключением Миша и заснул.

А на следующую ночь, после того как утром Кирпичникова увезли на операцию, Мише то ли приснился, то ли примерещился наяву огромный и многоэтажный, размером с европейский отель, паром, который должен был доставить его к месту назначения. Корабль плыл по ночному черному беспокойному морю, переливаясь праздничной иллюминацией. И цветные огоньки прыгали в волнах за бортом. А впереди Мишу ждал его Остров...

Уже проснувшись, Миша все ощущал, как мягко покачивается палуба под ногами. А потом вспомнил: теперь, следом за Игорем, – его очередь. И стал искать аспирин: его знобило. Вот что значит стоять на верхней палубе в распахнутом пальто, усмехнулся про себя Миша. И он поднялся с постели радостный и возбужденный: так уже истомился здесь в ожидании и так хотел, чтобы все это скорее кончилось.

Миша, вспоминая родных, радовался, что родители не дожили до его болезни. Потому что это странно и неестественно – пережить своего ребенка. У них с Верочкой была знакомая пара, весьма состоятельная, у которой нелепо и трагически погибла единственная дочь – совсем юная, девятнадцати лет, красивая и способная. Она сгорела под утро в каком-то загородном кемпинге, где с дружкой отмечала Восьмое марта в отдельном коттедже с камином в виде электронагревателя, который они забыли выключить. Нельзя было, глядя на осиротевших родителей, употребить расхожее выражение раздавленные горем. Напротив, они наладились по три раза в год ездить на заграничные курорты –

то в Египет, то в Индию, то в Грецию, она не вылезала из косметических салонов, он стал курить трубку, какие-то дорогие голландские табаки, но – это были уже другие люди. Она в сорок пять лет вдруг стала непомерно кокетлива, а он в середине пятого десятка – капризен, запелляционен и мрачен, стал как-то особенно занудливо следить за здоровьем и порядком в доме и, поднимая рюмку, обращался сам к себе с нежным тоском: Юрик Петров, будь здоров!..

По дороге домой, в метро Верочка спросила ну и как тебе?

– Мне кажется, они держатся...

– Разве ты не видишь, – сказала Верочка, – что он погибает?

И Миша, подумав, согласился с ней. Хотя было странно, что надорвался именно отец, не мать. Впрочем, думал сейчас Миша, если бы родители были живы, то места себе не находил бы тоже именно его отец. А мать, пожалуй, крутила бы для Мишуты в больницу котлеты с помощью электрической мясорубки, слушая при этом Болеро Равеля.

Однажды Миша вспомнил о существовании одной древней скандинавской легенды. Но при всей своей феноменальной памяти никак не мог припомнить в точности деталей. Речь шла о том, что раз в год, где-то на святки, как сказали бы православные, ночью из метели возникает женщина и всё вокруг ее фигуры озаряется ярким огнем. Однако ни как зовут этого персонажа народных, безусловно, поверий, ни как должна выглядеть эта фигура, Миша вспомнить не мог. Он целый

день мучился, перелистывал по памяти и Фрэзера, и Проппа, но ничего не выходило: он не мог вспомнить имя этой особы – то ли Снежная Женщина, то ли Ледяная Дева... Конечно, отзвук этой легенды звучит у Андерсена, но датский сказочник был литератор и беллетрист, а фольклор знал дурно. Одно верно: эта таинственная персона имела силу очаровывать заблудившихся в буране путников, приманивая свечением в темноте. А потом забирала с собою, – пожалуй, что навсегда.

В больнице и коридоры, и холлы, и палаты были увешаны самодельными, из церковных ларьков, наклеенными на деревяшки отпечатанными цветными картонными иконками и выписанными от руки текстами молитв. А в холле, она же гостиная, она же столовая, был устроен своего рода киот с живыми цветами. Старушки, каковых в отделении было немало, подчас перед ним молились, шепча слова одними сухими губами.

В их палате тоже была иконка и текст под ней. Это был девяностый псалом. Миша не поленился и проверил: нет, тексты в разных палатах были разные, а в холле так и просто Отче наш. Какое же послание содержалось в их псалме, адресованном обитателям палаты №1? И Миша прочел:

...Ты возвращаешь человека в тление
и говоришь: “Возвратитесь, сыны человеческие!”,
ибо пред очами Твоими тысяча лет,
как день вчерашний, когда он прошел,
и как стража в ночи...
Ты как наводнение уносишь их; они – как сон,
как трава, которая утром вырастает,

утром цветет и зеленеет,
вечером подсекается и засыхает...
Все дни наши прошли во гневе Твоем;
мы теряем лета наши, как звук.
Дней наших семьдесят лет,
а при большой крепости – восемьдесят лет;
и самая лучшая пора их – труд и болезнь,
ибо проходят быстро, и мы летим...
Последнее было странно. Но ведь, действительно,
летим. Летим, не зная куда.

На третий день, как увезли Кирпичникова, утром пришла сестра и перестелила его постель. И Миша, и Павел молча следили за ее движениями, ни о чем не спрашивая. За эти дни несколько раз звонил его телефон. И говорил громко, в палате было слышно, мол, абонент временно недоступен. Вот именно – временно.

– Да жив он, жив, – сказала сестра сварливо, но не без добродушия. – Сейчас подадут.

Подавать на местном сленге означало: отвезти на каталке. Скажем, в коридоре подчас можно было услышать: Нюрку к телефону.

– Да нет ее, она на подаче...

То есть повезла больного в операционную...

И Кирпичникова, действительно, вскоре подали. Его перенесли с каталки на свежую постель, и он страдалчески, через боль, улыбнулся, даже чуть махнул – чуть двинул, скорее, – Мише рукой. Хоть и был, конечно, бледен и слаб, совсем слаб. Он успел сказать еле слышно ничего не помню и тут же заснул. И по нему было незаметно, что он жив: во сне он дышал совершенно без-

звучно и лежал на спине не шевелясь. И Миша подумал, что дворяне все же лучше переносят боль и страдание, чем мещане, скажем.

Диковинное развлечение однажды выпало и больным, и персоналу: у входа в больницу, перед самым подъездом, снималось кино. В тот день впервые в этом году посыпал с неба мелкий редкий снег, и на улице стало особенно сумрачно. Наверное, поэтому в кустах был помещен гигантский слепящий софит и стоял белый экран, рассеивающий его свет.

Эпизод снимался такой. По команде пошел, которую подавал молодой человек в короткой дубленке через мегафон, сбоку, из-за угла, выезжала машина “скорой помощи”; тогда режиссер кричал мотор, и “скорая” въезжала в кадр. Останавливалась у больничного крыльца, из нее вытаскивали тело на носилках, и два санитаря бегом, вприпрыжку, уносили носилки из кадра, надо полагать, в приемный покой. Оживлялся эпизод тем, что следом за носилками бежал врач, но спохватывался, возвращался в машине, брал с сидения папку и бежал обратно... Едва носилки оказывались за кадром, как тело поднималось, актеру подносили зажженную сигарету, но тут раздавался крик делаем повторчик – и тело, попыхивающее дымком, несли обратно; оно было без пальто, но прикрыто простыней. И отъезжала на стартовую позицию по проложенным на асфальте рельсам операторская тележка с согбенной к камере фигурой оператора, над которым ассистент держал раскрытый зонт. Потом ассистентка хлопала хлопушкой, дубль второй, и все начиналось сначала.

Трудолюбивые кинематографисты снимали этот эпизод целый день: Миша насчитал восемь попыток. Не говоря уже об идиотской забывчивости врача, был в этом эпизоде какой-то завораживающий цинизм, в этом заносе и выносе тела тяжело, видно, больного человека, раз его привезли ногами вперед. Но пуще другого Мишу поражало, что кинематографисты не нашли ничего лучше, как снимать свою чушь непосредственно у реальной больницы, в которой страдают и умирают реальные больные, а не игрушечные. В конце концов это можно было снимать у любого казенного крыльца – повесь только вывеску... Миша, как и многие в отделении, неизвестно зачем, будто кто-то поручил ему сосчитать количество дублей, проторчал все это время у окна, из которого дуло, и простудился-таки основательно.

Следующее утро он начал с соплей и аспирина. И – впервые за все это время – с приступа больничной тоски. Как будто это дурацкое вчерашнее развлечение только усилило постоянный здесь привкус неволи и заточения. В больнице говорили лишь о болезнях и о воспоминаниях, даже относительно молодые люди жили здесь прошлым. За этим – интуиция конца, интонация прощания, не явная, быть может, самим ораторам... И вот что важно – никто здесь не строил планов, не говорил о том, куда он поедет отдыхать; здесь в мужских палатах не говорили о женщинах; лишь бесконечно приставали к докторам: те, кто еще не прооперирован, – можно ли уйти домой на воскресение и когда же наконец операция; а те, кто прооперирован, – когда выпишут... И надо же было такому случиться, что именно в

этот день, когда Миша совсем захандрил, вплоть до желания сбежать, которое рано или поздно настигало здесь каждого, кто томился в ожидании своей участи, после завтрака в палату вошел хирург Илья Яковлевич, вывел Мишу в коридор и, положив руку на плечо и неестественно весело блестя глазами из-за очков, спросил: ну что, к бою готов?

И тут на Мишу, сменив тоску, накатило веселое возбуждение. К бою готов? – сказал врач. И Мише пришло в голову, что само бритье живота перед операцией – ритуально, как рыцарская инициация, как обряд посвящения перед сражением, как удар меча по плечу, плоской стороной. И теперь он сможет называть свой меч по имени, например, Бальмунг. Да не только меч, но и прочие части вооружения и туалета.

Сестра отвела Мишу в процедурную, и Миша распаковал принесенный Верочкой набор: крем и пластмассовый скребок. Брить предстояло грудь и живот – как будто перед тем, как надеть кольчугу, – и Мише нравилась эта игра, когда спутанная в пене шерсть стала слезать клоками и исчезать в раковине... Впрочем, волос на его теле было немного.

Когда он закончил, сестра приняла работу и даже похвалила. А теперь сделаем клизмочку... И когда внутренние полости Миши наполнились холодной водой и терпеть стало невмочь, велела вставать с сырой, липнувшей клеенки, на которой он лежал голым, бритым животом. Если кто будет занимать очко, столкни, скажи – из процедурной... Это уж и вовсе напоминало бое-

вые действия. К Мишиному везению, оба очка были на сей раз свободны.

Подготовка к бою занимала дня три, и всякий день Мише после клизмы ставили градусник. Температура держалась около тридцати восьми, и Миша поворовски ее сбивал. Наверное, это было мальчишеством, но в тот день тоски, которой он так мужественно и так долго здесь сопротивлялся, он понял, что больше всего на свете хочет домой. Больше даже, чем поправиться, если вообще применимо это слово к его ситуации, – впрочем, этимологически это было верно. Он вспоминал как-то слышанную в курилке горькую остроу: да что там до пенсии, здесь до смерти дожить бы... И, засыпая, думал о том, а где, собственно, его дом? Квартира родителей, которая теперь была пуста; их с Верочкой квартира, в которой, по сути дела, он никогда не был хозяином; дедова дача с уличными удобствами, плохо приспособленная для жилья? Или все-таки Остров с розами и готическим собором, где на домиках висят веночки – отпугивать нечисть? Или у Ледяной Женщины, Снежной Девы, которая обитает где-то там, на севере, за метелью, в ледяном дворце?..

Когда за ним пришли, то первым делом скомандовали обмотать ноги эластичным бинтом – чтобы не натирали доспехи, решил Миша, – потом сделали какой-то укол, отчего Мишу сразу окутал сладкий дурман, а там велели раздеться догола. Конечно же, это тоже было непременной частью обряда. Каталку подали прямо к дверям палаты, и голый Миша, не стыдясь своей наготы, взгромоздился на нее, его закрыли простыней,

только горбатый нос смотрел вверх, и покатали через все отделение. И он чувствовал на себе взгляды товарищей по несчастью: и жалостливые, и любопытные, ведь они не могли определить с первого взгляда, живым или мертвым везут беспомощное и нагое тело. Но он помахал всем рукой, мол, жив еще, мало того – он отправлялся на сражение, однако кто знает – не станет ли оно для него роковым... Это было последнее его воспоминание, если не считать вида низких раскаленных ламп над самым лицом, потому что в операционной ему сразу же дали наркоз.

Он очнулся на неудобной, очень высокой кровати, и рядом с ним сидела очень ласковая молодая женщина, которая весьма обрадовалась его пробуждению. Было холодно. Палата реанимации была уж совсем больничная, строгая, никакого киселя на подоконнике. Всего-то три часа, сказала женщина и радостно улыбнулась, будто с чем-то Мишу поздравляла. Миша подумал, что не знает: три часа ночи или три часа дня. Обычно дольше оперируют, продолжала женщина, вот был у нас больной – восемь часов длилось, такой тяжелый... Но Миша уже не слышал ее, потому что опять заснул.

Он не представлял себе, какой сегодня день недели. И сколько времени прошло после операции. Он правой рукой нащупал под простыней свежий шов, который начинался почти от груди и шел вниз, налево, кончаясь под животом. Шов на ощупь был очень мягким и едва уловимо ныл. Он подумал: где же Верочка? Но спросить было не у кого. Но зато понял, что его раз-

будило. В этой, новой палате рядом с ним, через узкий проход, лежал так же, как и он, укрытый простыней человек и кричал петухом.

Миша не без страха пригляделся, рассмотрел в сумраке лишь синее небритое лицо. Потом сосед начал блевать, прямо на себя. Вошла медсестра, но не та, ласковая, другая, и легко укатила кровать соседа. А Мише бросила: температуру мерить... Но градусника не дала.

Температура у Миши оказалась под тридцать девять. Сколько я здесь пробуду, спрашивал он у разных сестер, которые дежурили по очереди, сутками. Отчего-то ему захотелось в его палату, к своим. Поболтать, что ли, с Кирпичниковым. Доктор скажет, отвечали Мише...

Однажды к нему пустили Верочку – подпустили, сказать точнее. Ей, укутанной в большой, не по ее малому росту, белый халат, разрешили постоять на пороге: добрые люди подсказали ей дать дежурной сестре сто рублей. Потому что в реанимационное отделение, разумеется, родственников не пускали – те держали вахту в коридоре. Все хорошо, очень, сказал Миша.

– У тебя высокая температура, – сказала Верочка сдавленным от тревоги, не своим голосом.

– Это после операции... И потом... потом... знаешь, когда здесь у нас снимали кино...

Верочка не смогла сдержаться и зарыдала. Ее увели. Наверное, решила, что я тронулся разумом, понял Миша. Но точно ли было кино, или это мне снилось?

Температура упорно держалась и не желала падать. Однако не это пугало Мишу. Дело в том, что теперь, ед-

ва он прикрывал глаза, ему принимался слышаться бой часов.

В первый раз ему показалось, что это бьют городские часы на площади ратуши. Конечно, он же на Острове. И здесь есть городские часы... Но, вслушавшись, он узнал скрипучий голос напольных часов из родительской квартиры, которые сам же и завел. Они били глухо, ржаво, и было не сосчитать – сколько...

А хуже всего было то, что после операции у Миши Мозеля что-то сделалось с памятью. То есть память работала, но как бы наизнанку. И вспоминалось, вырвавшись из-под спуда, отчего-то только то, что Миша давным-давно забыл, а то, что всегда хорошо помнил, стало смутно. Это после наркоза, объяснял себе Миша.

Скажем, ему вдруг вспомнилось, что его мать, когда отец привел ее под дедов кров, пугалась боя этих самых часов до икоты – это рассказывала бабушка. Она умоляла отца остановить их, потому что они будили ее среди ночи, а потом она уже никак не могла заснуть... Как этот конфликт разрешился, Миша не помнил, да и едва ли знал, ведь его тогда еще не было на свете. Но понимал, что матери просто-напросто было страшно в этом богатом доме, где наверняка брак сына заглазно считали мезальянсом.

Вспоминалось и еще кое-что стыдное из семейного. Например, как мать любила рассказывать гостям о Мише – при нем же, как будто его здесь не было, – такие вещи, что Миша и стыдился, и не на шутку обижался. Она могла сказать почти постороннему человеку Миша

наш вообще-то ничего не умеет, разве что неплохо водил машину, но сейчас и не водит... И это о нем, о кандидате наук, о человеке, в голове которого умещалась энциклопедия.

Лежа в реанимации, он, наконец, понял, что мать всегда в нем, нежеланном ребенке, видела как бы не совсем человека, не мышонка не лягушку, особенно по сравнению с блестящим красавцем-мужем. Ведь Миша был незаконным ребенком. В том смысле незаконным, что отец женился на его матери, когда Мише был уже год. И сделал это под давлением деда. Этого, скорее всего, мать и не могла Мише простить.

К тому же ему принялись сниться малоприятные, странные сны. Скажем, однажды приснилось, что его вызвали куда-то и показали пожелтевшую газету. Его спрашивали: вы там были, вы были там? Миша смутно видел во сне собственную сутулую длинную фигуру со стороны: нет, нет, я там не был, это ошибка... Но допрашивающий лишь рассмеялся; тут же сидела, по всей видимости, секретарша и тоже смеялась: вы нам оттуда сувениры привезите, как все везут, мочалку, картошку и сирень... Миша проснулся в поту, повторяя в смятении мочалка, картошка, сирень...

И все пытался понять, откуда эта чушь. И, кажется, вспомнил. Давным-давно, еще в аспирантуре, его вызвали в факультетский отдел кадров. Кадровик, человек мрачный и грубый, на этот раз держался предупредительно и представил Мишу розовощекому молодому человеку, не старше самого Миши, очень похожему на кадрового комсомольца при галстукке, не идущем к рубашке. И оставил их наедине. Тот быстро перешел от слов

к делу: нам нужна ваша помощь... мы в долгу не останемся... что вы скажете о таком-то... о чем говорят на факультете... Миша испытывал всю гамму самых паскудных чувств: от страха до гадливости, от стыда до возмущения. И сказал только, что на факультете почти не бывает, работает дома и в библиотеке.

– А о чем говорят в библиотеке?

– Там нельзя разговаривать...

– А в столовой, в курилке?

– Я не курю, – солгал Миша и покраснел. Как раз закурить-то ему и хотелось сейчас больше всего – от стыда за собственную трусость.

– Что ж, подумайте, надеемся, вы нам поможете. Хотя бы из уважения к памяти вашего деда... Мы еще встретимся.

Особенно паскудной казалась эта их манера всегда говорить о себе во множественном числе... Но больше Мишу никогда никуда не вызывали.

Дед Миши Мозеля был генералом НКВД. Если нечаянно кто-то напоминал о его работе, дед дежурно суровел и чеканил мы, рыцари революции... А ведь был действительно потомком рыцарей, бароном... Не то чтобы Миша стыдился этого факта, просто он этот факт давно забыл. А деда он любил и, кажется, втайне от самого себя дедом очень гордился... Но было кое-что, о чем все-таки Миша помнил и чего стыдился, поскольку это чуть не всякий день попадалось ему на глаза. Инвентарные номера на старых и ценных книгах в дедовой библиотеке были, конечно, никак не букинистического происхождения: какой же букинист станет портить книги? Это были номера описей конфискации, и приобре-

тал книги дед в специальном магазине Лубянки по бросовым ценам. Оттого на них и стояли самые разные экслибрисы... И Мише оставалось воображать, в какой усадьбе или в каком барском доме некогда стояли эти тома. И чьи руки держали их, чьи пальцы любовно листали... Даже тяжелая зеленая лампа на бронзовой витой ноге в кабинете деда имела инвентарный номер на пятке: что ж, как любили говорить, объясняясь, люди того поколения, такое было время... Только было то время отчего-то не линейно и для разных людей текло как бы в разные стороны.

Послеоперационные сны Миши становились все мучительней. Не сны даже – виденья между явью и сном. Потому что Миша все чаще впадал в забытие, и это при том, что у него ничего не болело – так, немного тянул шов. Это было сладкое состояние, как когда-то в детстве: нежность нетяжелой простуды, когда можно было не ходить в школу, а есть малиновое варенье, валяясь в кровати с книжками. Сладкое, если бы не эти мучительные сны-воспоминания...

Как-то ему привиделось, что он все еще плывет на пароме. Но не стоит на палубе, а сидит с кружкой пива в тамошнем танцевальном клубе. И его приглашает на танец средних лет веселая дама. По специфически скандинавскому рыцарскому подбородку он понимает, что дама – шведка. Они танцуют на гладком зеркальном полу в плавающих разноцветных струях света, музыка все громче, дама прижимается все теснее, и вдруг Миша чувствует, как ее рука ласкает его член. Миша стес-

няется, возбуждается, хочет вырваться и – кончает... Боже, проснувшись, подумал Миша, сколько ж лет у меня не бывало во сне поллюций...

Знаю, знаю, говорила опять возникшая та, первая, милая и улыбчивая, сестра, вам хочется назад, в палату, увидеть жену, уже скоро, врач сказал, что скоро, вот температура спадет... И Миша подумал: откуда она знает, что он хочет видеть Верочку. И сказал, опять засыпая, спасибо...

Приснилось: за ним гонится машина, он пытается убежать, спрятаться, но машина догоняет его и на тротуаре, теснит, прижимает; он оборачивается – в машине Вера. Но ведь у них нет машины и Верочка не умеет водить. И вдруг Миша понимает, что за рулем – мужчина, и понимает, что это – любовник жены... Боже, чушь какая, проснулся Миша, у Верочки?.. И долго лежал, вспоминая.

Много лет назад, четверть века прошло, он приехал к Верочке в экспедиционную партию неожиданно, сюрприз. Ехать пришлось на край света. Миша никогда не был путешественником, поэтому предстоящее ему расстояние страшило. Одно только и подгоняло: увидеть жену, – они были в разлуке уже два месяца. Партия работала в Средней Азии, в Заравшанском оазисе, под Бухарой. Чтобы оказаться там, Мише пришлось лететь в Ташкент, потом пересаживаться на автобус до Самарканда. А там предстояла еще одна пересадка... В Ташкенте Мишу обчистили карманники, пока он лице-

зрел фонтан на площади Навои. Но не начисто, слава Богу, вытащили только те деньги, что были в заднем кармане джинсов: бумажник с документами и основной суммой Миша хранил в сумке, а сумку, перекинутую через левое плечо, тесно прижимал локтем к левому боку.

Он добрался до места расположения партии на закате, когда раскаленная пустыня вот-вот должна была начать остывать. Верочку он нашел почти сразу, на лавочке перед баракком, который некогда служил кошарой для овец и который стоял на берегу грязного арыка. Она обнималась с пожилым человеком, лет за сорок, тесно к нему прижимаясь, время от времени они целовались. Мужчину Миша узнал, виделась в Москве пару раз, это был Верочкин научный руководитель...

Температура так и не падала, но Мише объявили, что его переводят в палату. Наверное, в тесной реанимации его было дольше держать нельзя: конвейер операций двигался не стопорясь... Мишино тело опять погрузили на каталку, опять закатили в лифт и спустили на два этажа. А там перегрузили на его кровать.

– О, привет, – слабо сказал Паша. И снова приткнулся к коленям жены, что сидела, ссутулясь, перед ним на стуле. Кажется, дела его были нехороши.

Кирпичникова в палате не было.

– А где Игорь? – спросил Миша.

– О, скачет уже... молодец, – ответил Паша завистливо. Ведь у них были одинаковые операции, а Пашу оперировали первым, подумал Миша. И нащупал телефон, который он оставил в тумбочке. Он набрал домаш-

ний номер, Верочка долго не брала трубку. Наконец ответила весьма оживленно: алло?

– Я уже здесь, – сказал Миша.

– Где ты? — спросила Верочка тревожно.

– Здесь. В больнице.

– О, господи, ты меня напугал!.. Ну как ты?

– Хорошо. Температура. Но я хорошо.

– Я сейчас приеду...

– Завтра, – сказал Миша, – приезжай завтра. Теперь я лучше посплю...

Телефон тут же зазвонил снова, и Миша решил, что жена передумала. К его изумлению, звонил Науменко. И Миша успел удивиться такой предупредительности, ведь они давно не общались. Но Науменко, кажется, даже не знал, что Миша в больнице. Он сбивчиво рассказал, что его эрдель-терьер только что погиб, упав со слепа в котлован, который за ночь строители вырыли перед домом. Он упал вниз, повторял Науменко, а потом зарыдал... Верочка действительно приехала только на следующий день. И Мише показалось, что он отвык от нее.

Когда он вернулся в палату, он сразу почувствовал, будто медленно всплывает из темного небытия и что оставивший его было ангел-хранитель снова порхает где-то рядом. Миша всегда полагал, что страдания облагораживают и поднимают, недаром же есть выражение очистительные муки, но первые послеоперационные дни, напротив, были погружением в неприятное, грязноватое. Сейчас он старался опять нащупать то ровное и ясное настроение, с каким готовился к бою. Но

вяло работал мозг, немного мутило, затекала шея, думать связно ни о чем не выходило. Даже сны стали навязчивыми, бесформенными. Снилось, что его не пускают на самолет. У вас неправильный паспорт, говорили ему люди в фуражках. Я на Остров, умолял их Миша. Мы знаем, говорили ему, мы все про вас знаем, у вас температура...

Миша заметил, что и с Кирпичниковым произошли перемены. Он первым делом посоветовал Мише, указывая на том Толстого, не читать сейчас серьезных книг, а, скажем, Трех Дартаньянов, Миша не сразу сообразил, о чем идет речь. Кроме того, Кирпичников чуть что принимался рассказывать, называя себя в третьем лице, что, мол, крутого яичка ему еще нельзя. По-видимому, ему с трудом давалась послеоперационная диета, он лишился важного удовольствия в жизни.

Верочка приходила, как и прежде, через день, приносила все тот же кисель. Они, как прежде, говорили мало, но сейчас, кажется, обоим это молчание было в тягость. Как-то Миша сказал: Веруша, тебя вчера не было... я звонил...

И вдруг Верочка, его милая Верочка, сказала не без капризности:

– Ну подумай сам, нельзя же никуда не ходить...

И посмотрела на него угрюмо.

Память понемногу возвращалась к нему. Он даже смог вспомнить первые слова псалма, что висел в палате на стене:

...ибо пред очами Твоими тысяча лет,

как день вчерашний, когда он прошел,
и как стража в ночи...

И тем более Миша чувствовал, как он оживает, когда ему опять стал сниться Остров. Однажды приснилось, что он сидит в лесу у обрыва на подстеленной куртке, а городок находится далеко под ним. Обрыв так высок, что даже шпиль собора оказался внизу, а самая верхушка – на уровне глаз. Сумерки, холодно, и Миша понимает, что это – предрассветный час. Миша понимает, что надо бы спуститься в город, чтобы согреться, но что-то не пускает его. Как же я сюда попал... как же, силится вспомнить Миша. И вспоминает, просыпаясь, что приплыл на пароме, который весь был обсыпан цветными огоньками... Остров – это понятно, но обрыв – почему обрыв. Тут Миша вспомнил о бедном псе приятеля-переводчика, упавшем вниз...

Было то самое раннее утро, какие так тяжело всегда Мише давались. Действительно, было холодно – и очень хотелось курить. Но встать Миша не мог, хотя днем сестра инструктировала его: сперва на правый бочок... медленно, не торопись... потом тихо-тихо перекатываешься и спускаешь ногу... вот так... потом садишься... Но сейчас ничего этого Миша исполнить не мог. Он понимал только, что он, Миша Мозель, вовсе не хочет возвращаться домой. Он вообще не хочет больше быть здесь. Но что надо заставить себя медленно повернуться на правый бок, медленно спустить ногу... И вообще нужно спуститься вниз с обрыва, в городок, где, наверное, уже затопили камины и где ему, странствующему рыцарю, дадут мягкий пушистый плед и нальют горяче-

го глинтвейна с корицей. И Снежная Дева, освещая ему путь, пустит-таки его в свой Ледяной дворец и позволит там жить. Пожалуй, что навсегда...

Тело Миши Мозеля нашли под утро на полу палаты – наверное, во сне он упал с кровати. И усталая дежурная сестра получила выговор от врача, потому что после реанимации за больным нужен глаз да глаз. Но и усталый врач понимал, конечно, что их много, и за всеми не уследишь.

впервые опубликован "Октябрь" , 2005, 4